

исчерпаны.

Наум КОРЖАВИН:

Каме. правды. - 1991. - 5 стр.

«Плюрализм в одной голове — это уже шизофрения»

В своей пятистрочной заметке о том, как поэт Наум Коржавин побывал в «Комсомолке», я привела только единственное его суждение: «Плюрализм в одной голове — шизофрения». А на другой день услышала в «Дневнике Ленсовета»: «Как правильно сказал поэт Наум Коржавин: «Плюрализм в одной голове...» И — судя по звонкам и письмам читателей — фраза стала афоризмом.

Его любимое выражение: «Надо освободиться от забубонов».

Сам всю жизнь от них освобождался неустанно. Тем более от времени, которое выпало на его долю, ему этих самых «забубонов» досталось предостаточно.

...Он с детства любил революцию.

Это была единственная духовная субстанция, которую он мог тогда знать.

Люди дворянского, например, происхождения знали иные духовные субстанции. А ему, простому мальчику, ничего другого дано не было.

Сталина он не мог любить. В Сталине с малых лет чувствовал ложь. И ничего не оставалось любить, как только революцию и людей, ее сотворивших.

Он много думал о революции и хотел ее понять.

После мучительных и горьких раздумий напишет о своих любимых двадцатых годах: «Крепили мизантропию, что особым нет беды, если рядом убивают ради Веры и Мечты».

Сегодня Коржавин убежден: никакая конечная цель нет в природе вообще. Есть Царство Божие внутри каждого из нас. А это, значит, что каждому из нас нужно каждый день доказывать себе и другим свою человеческую сущность. Свою причастность к духу. Но это не цель, которую можно достигнуть когда-то и раз и навсегда. Это — жизнь.

...В коммунизм Наум Коржавин верил долго. До пятидесяти седьмого года.

Он верил в коммунизм как в идею.

Но после венгерских событий пятидесятых годов читает в советской печати три подряд статьи венгерских коммунистов и видит, что коммунистической логикой можно оправдать все, что угодно.

...В сорок четвертом девятинадцатилетнем он написал стихотворение «Зависть».

«Может строчки наизывать похуже, похуже, но никто нас не вызовет на Сенатскую площадь... Пусть по мелочи биты вы чаще самого частого, но не будут пытаться имена соучастников. Мы не будем увенчаны... И в кибитках, снегами, настоящие женщины не поедут за нами».

Спросила его: через три года, в сорок седьмом, вам уже не пришлось ни в чем заводить декабристам? Всё сбылось — арест, ссылка, снега, Сибирь?

Он — задумчиво: да. Потом засмеялся: однако нельзя сказать, чтобы я этому сильно обрадовался.

И уточнил: меня просто посадили. Я не выходил ни на какую Сенатскую площадь. Никого не свергал. И соучастников у меня не могло быть. Посадили его за стихи.

Опять же девятнадцатилетним он писал: «Гуляли, целовались, жили-были... А между тем, тусовая и рыча, шли в ночь закрытые автомобили и дворников будили по но-

чам». «Когда насквозь неискренние люди нам говорили речи о врагах».

И читал эти и такие же стихи на послевоенных вечерах открыто, не таясь.

Восемь месяцев провел на Лубянке. Три года в сибирской ссылке...

«Некоторые воспринимают как героизм то, что я читал свои антисталинские стихи. Но я писал стихи, мне хотелось их читать! Это естественно. Мне хотелось отклика. И отклик был. Было горячее сочувствие аудитории».

Испытывал ли он страх?

«Теоретически я сознавал опасность. Но меня несло!»

«Я очень боялся, что мне аплодируют за смелость. Я хотел быть поэтом. А не смельчаком».

...Эмигрировал в семьдесят третьем.

«Безнадега замучила. Невыносимо тошно, невыносимо душно стало».

Эмиграцию свою считает вынужденным компромиссом.

Вызвали в прокуратуру. Стали задавать неприятные вопросы. В его жизни это уже было. И он не хотел, чтобы повторилось.

Уехал доживать. Уехал умирать. А было ему всего сорок восемь лет.

В эмиграции писал: «Не странно ли? Сбежав за границу, держась за последний причал, я рад, что мне выпало родиться в стране, из которой сбежал».

О нем говорили: ну, какой Коржавин эмигрант? Он просто переместился в пространство.

В эмиграции жил Россей. Только ею.

«И рухну, обиженный ею, шепча ей стихи, как письмо... Пусты... Если она уделет, то все утрясется само».

...Первая публикация — в тридцать шесть лет. Первая (и пока единственная) книжка в СССР — в тридцать восемь. Хотя стихи поэта Наума Коржавина переписывались от руки и перепечатывались на машинке задолго до появления самиздата, с первых послевоенных лет.

На Западе вышло два поэтических сборника Наума Коржавина.

Скоро (есть надежда, что в этом году) издательство «Художественная литература» выпустит его «Избранное».

...Он никогда не говорит о своих соотечественниках «они». Только — «мы». Обмолвки типа «у нас в Америке» — тоже не из его лексикона.

Жизнь ему это не облегчает. Ни на Западе, ни у нас. Тем более, что у нас теперь слово «мы» отнюдь не самое популярное.

В «Поэме причастности», написанной в восемьдесят первом — восемьдесят втором годах и посвященной войне в Афганистане, Наум Коржавин писал:

«Мы!» — кричу самовольно, приобщаясь к погостам. От стыда и от боли не спасет меня Восток. «Мы!» — твержу. — Мы в ответе. Все мы люди России. Это мы — наши дети топчут судьбы чужие».

В прошлом году он стал предлагать поэму советским журналам. И — в самых рестроенных — отказ и недоумение: «Кто это — мы? Мы — что ли? Пусть в Кремле отвечают».

Кстати, о Кремле.

Отдавая себе отчет в неподъемности и необходимости задач, которые взывали на себя Горбачев, он Горбачева жалел.

ИСТИНА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА

«Это ж не тот груз, о котором скажешь: а-а, кум, бросай, пошли в кабак. Это надо было ему на себя взвалить. А насчет неподъемности... Вот говорят: Горбачев не тянет! Из чего следует, что тот человек, который так говорит, потянул бы. Ну, не знаю. Я себя — даже мысленно — к таким людям не отношу. И мне жалко, что люди как-то очень быстро забыли, что сделал Горбачев. И что в наших (!) условиях если бы он этого не сделал, то это было бы так и не было».

Он нашу жизнь по-прежнему считает своей и поэтому сильно переживает за то, что здесь происходит.

«Нельзя толкаться на качающейся льдине. Все утопнем. Нельзя драку затевать на болоте. Все утопнем».

Впрочем, я забегаю вперед. Очевидно, лучше предложить читателю (после конспекта судьбы поэта) конспект моих бесед с ним. Быть может, это хоть на толику поможет тем, кого одолевают сегодня безверие, тупца и бессмысленность того, что происходит вокруг.

«От созидательных идей, упрямо требующих крови, от разрушительных страстей, лежащих тайно в их основе, от звезд, бунтующих нам кровью, мысль облупачивая незримо, — чтоб жажде выпотать любовь, стать от любви неотличимой, от Права, затмивших правду дней, от лжи, что станет им итогом, одно спасенье — стать умней, сознаться в слабости своей и больше зря не спорить с Богом».

«Чего я так боюсь сегодня? Не того, что всех перестреляют. Не перестреляют. Я боюсь, что мы опять не на то тратим время, которое нам отведено на спасение. Последние часы, быть может, тратим».

«Мне горько и неприятно, что вновь наступили времена, когда можно с трибуны или с телеэкрана нести бессмыслицу. Главное, чего добился Горбачев: мы стали говорить нормальным человеческим языком. И не только у себя на кухне. Язык — элементарное человеческое право. Но его у нас не было. И вот только люди заговорили по-человечески, только стали называть вещи своими именами, как опять: сахар — горький, а хрен — сладкий?»

«Полковник Алкснис — фигура трагическая. Он умеет формулировать все до конца. А его сторонники отнюдь не стремятся к самосознанию. Они формулируют свое отношение к жизни не любят. И то, что полковник Алкснис умеет формулировать до конца, его сторонники ему не простят. Они ведь люди подпольные. Им нельзя высказывать вслух свои правила. Их правила подпольные. Даже от самих себя подпольные».

«Так бойтесь тех, в ком дух железный, кто преградил сомненьям путь. В чьем сердце страх увидеть бездну сильней, чем страх в нее шагнуть».

«К Хрущеву я относился с симпатией. И — как к несча-

стью. Сталин таял то, что рядом. А Хрущев втянул нас в глобальную политику. Мы из кожи стали лезть — становиться сверхдержавой. Как будто это могло принести нам счастье».

«Брежневщина — сталинщина на свободе. Сталинские выдвиженцы без сталинского кнута».

«Прости меня. Прости, Россия, за все, что сделали с тобой. За вдохновенные насилия, за хитромудрых дураков. За тех юнцов, что жить учили разумных, взрослых мужиков. Учили зло, боясь провала. При всех учили — днем с огнем. (...) Пока ценой больших усилий, устав от крови и забот, пришли к победе... Победили — самих себя и весь народ».

«Все мы простые перед Богом. Все мы живем. Все мы умрем. Все мы хотим жить. Всем нам нужны квартиры, тепло. Всем нам много нужно. А мы были воспитаны так, что в диссидентском даже кругу рассуждали: вот талантливый художник, а живет в восьмиметровой комнате... А если — не художник? И — не очень талантливый? Так что — ему можно жить в восьмиметровой комнате вместе со своей гигантской семьей?»

«Надо верить в здравый смысл. В то, что мы — люди. Что в России — колоссальная история. Она — сложная. Но не мальчик для битья. Зощенко как-то сказал: история есть общее достояние и общее дело, за которое всем следует краснеть. И — каяться. Потому что мы — люди. Несовершенные существа. Люди вообще должны уметь каяться. Но покаяться — не значит полностью отказаться от себя. Каяться — чтобы очиститься и жить дальше. А не для того, чтобы вешаться. Каяться — чтобы приобщиться к Богу. А не для того, чтобы отпасть от Него. Наша страна — квалифицированная и умная. Усталая. Но — квалифицированная и умная. Я долго живу за границей, но у меня нет ощущения, что наши люди хуже и глупее, чем на Западе».

«В сорок восьмом году наш этап в сибирскую деревню Чумаково был третьим. Первыми прибыли (конечно, не случайно) уголовники. Их разобрали по хатам, а они наворовали, что могли, и разбежались. Вторым этапом привезли политических, и их боялись как грабителей. Но потом узнали поближе и относились хорошо. А когда четвертый этап прибыл (тоже политические), я сам слышал, как одна женщина кричала: «Бабоньки, не бойтесь вы их, это не бандиты, это хорошие люди, катрионеры».

«Вытаскивание из ямы России — задевает миллионы жизни. И не только каких-то там бюрократов. А почти всех людей. Правильно сказал один мой приятель: все-таки каждый себе нишу нашел, притерпелся, приворовался. Была идиотская, скудеющая, но — жизнь. А теперь надо, чтобы человек выпадал из своей ниши, из своей жизни. А если ему уже пятьдесят, шестьдесят? И всего-то несколько лет жизни осталось? И до «хорошо» не дотянешь?»

«Надо освободиться от забубонов. Например, перестать так люто ненавидеть кооператоров. Что нам важнее — чтобы хлеб был или чтобы никто не обогащался? Кооператоры — полезные люди. Нельзя только превращать их в подпольщиков. Замечательный драматург и человек Александр Константинович Гладков говорил, сокрушаясь: это ж надо было убедить людей, что торговать — стыдно, а расстреливать — не стыдно».

«У меня в Америке есть друг. Очень хороший человек. На войне попал в плен — и не вернулся. Что такое наши лагеря, успел узнать до войны, так что предпочел вновь туда не попадать. Сейчас переписывается со своим племянником с Кубани, механизатором по профессии. Племянник хочет в отпуск приехать в Америку поработать на ферме, узнать западное сельское хозяйство. Дядя племяннику в письмах советы разные дельные по хозяйству дает. На что, однако, племянник отвечает: советы ваши, дядя, конечно, хорошие, но следовать мне им никак нельзя, если я это себе заведу, мой двор — сожгут».

«Конечно, военно-промышленный комплекс (ВПК) — это страшно. Но он тоже — жертва века. Слепая, глухая жертва. И в ВПК работают люди. Простые и обыкновенные. Они привыкли к своей работе, к своей жизни. И вдруг — все отменяется?»

«Когда начали падать лагерь, в Караганде одна карагановская дама (жена лагерного офицера) сказала другой в магазинной очереди: «Хоть бы лагерь еще года два продержался, детей на ноги поставить».

«Что — подлая женщина? Нет, она не была подлой. Не очень умная. Но не могут все триста миллионов быть умными. Что — немцы все умные? Или — англичане? Просто женщина беспокоилась о своих детях, ведь рушилась жизнь ее, жизнь ее детей».

«Это неправда, что любовь приходит ко всем. Любовь — великий подарок, великое счастье. Она жертв требует и безоглядности. Вот у девочки мелькнуло что-то, что она любовью назвала... Но когда любовь бывает, тогда и драма не так страшна, — хотя и страшна... А когда ничего, а после этого — драма... Тогда женщина, думаю, чувствует себя раздавленной».

«Любить надо из эгоизма. Отвечать «да» только когда тебе самому «да». Многие любят из жалости, то есть не столько любят сами, сколько пытаются ответить на чью-то любовь. Не на-а-до этого делать».

«Я всегда желаю молодым любви. А в крайнем случае — счастливой семейной жизни».

«Женщина — Богиня. Но — пленная».

Из статьи «Гармония и утопия»:

«Мы испытали все последствия бескомпромиссного максимализма. Мы теперь слишком хорошо знаем, что несовершенство жизни — отнюдь не основание для ее отрицания».

Зоя ЕРОШОК.